

# Глава XLVII

По сравнению с нашим прежним изданием «Вестник Матушки-Земли» был куда как тоньше, но в те тревожные дни мы не смогли бы сделать ничего лучшего. С каждым днем политический горизонт становился всё темнее и тяжелее, воздух был пропитан ненавистью и насилием, и найти хоть какую-то отдушину на бескрайних просторах Соединенных Штатов было невозможно. И снова лишь Россия сумела озарить первым лучиком надежды этот, казалось бы, пропащий мир.

Октябрьская революция как будто разверзла собою тучи, и отблески этой яркой вспышки проникали в самые далекие уголки планеты, неся миру весть о выполнении самого важного обещания, данного революцией Февральской.

Все эти львовы и милюковы, бросившие свои ничтожные силы против громады восставшего народа, были свергнуты, как прежде был свергнут царь. Даже Керенскому и его партии не удалось усвоить этот важнейший урок: они забыли обещания, которые бросились давать рабочим и крестьянам, как только заполучили власть. Десятилетиями социалисты-революционеры — наряду с анархистами, хотя первые и были многочисленнее и организованнее — представляли собой самый жизнеспособный фермент России. Их возвышенные идеалы и цели, их героизм и самоотверженность становились для многих путеводной звездой, привлекая под знамена социализма тысячи людей. На короткое время их партия и ее лидеры, Керенский, Чернов и другие, оставались верными духу Февральской революции. Они упразднили смертную казнь, отворили темницы с заживо погребенными там людьми и вселили надежду в каждую рабочую лачугу, в каждую крестьянскую хату, в каждую закабаленную душу. Впервые в истории России они провозгласили свободу слова, печати и собраний, и эти грандиозные поступки были с воодушевлением встречены свободлюбивыми людьми по всему миру.

Однако для простого народа эти политические изменения были лишь наглядным символом истинной будущей свободы — прекращения войны, получения доступа к земле и преобразования экономического уклада: именно так они представляли себе основополагающие и неотъемлемые ценности Революции. Но Керенскому и его партии не удалось справиться с требованиями того времени. Они отмахнулись от нужд народа, и их попросту смыло грозно надвигающейся волной. Октябрьская революция стала кульминацией пламенных мечтаний и стремлений, всплеском народного гнева против партии, которой верили, но которая не оправдала ожиданий.

Пресса Соединенных Штатов, как всегда, не способная копнуть глубоко, объявила Октябрьское восстание следствием немецкой пропаганды, а его главных сторонников — Ленина, Троцкого и их соратников — кайзеровскими наемниками. Американские борзописцы месяцами сочиняли небылицы о большевистской России. Их абсолютное непонимание причин Октябрьской революции было таким же ужасающим, как и их детские попытки

объяснить движение, возглавляемое Лениным. Едва ли существовала газета, демонстрирующая хотя бы общее понимание большевизма как социальной концепции, которую лелеяли люди исключительного ума, наделенные рвением и мужеством мучеников.

К сожалению, американские журналисты были не единственными, кто неверно представлял себе большевиков — большинство либералов и социалистов видели их через те же призмы. Тем более необходимо было, чтобы анархисты и другие истинные революционеры высказались в защиту этих незаслуженно шельмуемых людей и их участия в жизни бурлящей событиями России. На страницах нашего «Вестника», с трибуны и вообще всеми возможными способами мы защищали большевиков от клеветы и оговоров. Пусть они были марксистами и, соответственно, сторонниками государства — я поддерживала их потому, что они отвергли войну и мудро настаивали на том, что политическая свобода без соответствующего экономического равенства является пустым хвостовством. Я цитировала памфлет Ленина «Политические партии в России и задачи пролетариата», чтобы доказать: его требования фактически совпадают с тем, чего эсеры хотели, но не решались претворить в жизнь. Ленин стремился создать демократическую республику под управлением Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Он требовал немедленного созыва Учредительного собрания, срочного заключения всеобщего мира без аннексий и контрибуций, а также отмены всех тайных договоров. Его программа включала в себя возвращение земли крестьянскому населению в соответствии с потребностями и способностью к труду, рабочий контроль над заводами и фабриками, создание Интернационала в каждой стране с целью полного упразднения существующих правительств и капитализма, а также установление всеобщей солидарности и братства.

Большая часть этих требований полностью согласовывалась с анархическими идеями и посему заслуживала нашей поддержки. Но, уважая большевиков как товарищей по совместной борьбе и приветствуя их взгляды, я отказывалась приписывать им то, что было достигнуто усилиями всего русского народа. Октябрьская революция, равно как и Февральский переворот, была победой широких масс населения, следствием их славной работы.

И вновь мне нестерпимо захотелось вернуться в Россию и принять участие в строительстве новой жизни, и вновь меня задерживала приютившая меня страна — надо мной довлел двухлетний тюремный приговор. Однако в моем распоряжении были еще два месяца, прежде чем Верховный суд Соединенных Штатов вынесет свое решение, а за это время я могла кое-что успеть.

Обычно высшая инстанция работала до крайности медленно, и часто на рождение очередной ее соломоновой мудрости уходили годы. Но сейчас шла война, и пресса и духовенство жаждали крови анархистов и прочих бунтарей — хотя бы некоторых из них. Верховный судебный орган в Вашингтоне должен был дать свой ответ как можно скорее, и решающим днем должно было стать 10 декабря, на которое припадал День юриста: лишь семеро представителей этой славной профессии стали бы оспаривать неконституционность призыва и доказывать отсутствие заговора в делах Крамера и Беккера и Беркмана и Гольдман.

Наш адвокат Гарри Вайнбергер отправился в Вашингтон. В его аналитическом отчете по делу содержался подробный анализ различных вариантов развития ситуации, но больше всего нам нравилось то, что в качестве ключевых аргументов защиты он выбрал прогрессивный взгляд на человеческие ценности и общественную идеологию. Нам было известно заранее, что большинство джентльменов из Верховного суда слишком стары и немощны, чтобы выступить против этого патриотического возмущения. У меня же до 10 декабря оставались несколько дней, и я решила посвятить их краткому турне, в котором собиралась донести людям послание Русской революции и рассказать им правду о большевиках.

У обвинителей Муни возникли сложности: федеральные следователи принялись слишком тщательно разбираться в их нечестной игре. К этому добавлялось движение в Сан-Франциско за отставку Фикерта, а у самого окружного прокурора были свои причины для огорчения — губернатор Уитман отказывался выдать Сашу до тех пор, пока по его делу не будут необходимых документов. Да, не пристало так сурово обращаться с человеком, который преданно служил своим господам во время суда на Биллингсом и Муни! Но Фикерт не опускал рук: он хотел доказать, что предан большому бизнесу по гроб жизни, и будет предан ему до конца своих дней. У него было еще три преступника — Рена Муни, Израиль Вайнберг и Эдвард Нолан, и сначала он должен был избавиться от них, а потом, когда Верховный суд решил бы судьбу Беркмана, он разобрался бы и с ним. Ради удовлетворения собственных прихотей можно научиться терпению, а уж окружной прокурор Сан-Франциско мог себе позволить выжидать. Он уведомил Олбани, что временно отзывает свое требование о выдаче Александра Беркмана.

По федеральному делу о заговоре Саше нужно было внести двадцать пять тысяч долларов залога. Известность и уважение, которыми он пользовался среди трудящихся, сразу же побудили еврейские рабочие организации и просто друзей прийти ему на помощь. Однако для победы над чинимой законом бюрократией потребовалось значительно больше времени и сверхъестественные усилия. Наконец, всё получилось, и Саша снова стал свободным человеком. Для каждого причастного к нашей работе было немалым удовольствием снова видеть его среди нас; что же касается Саши, то он походил на мальчишку, прогуливающего уроки: он был беспечен и весел, хотя, как и все мы, знал, что вскоре ему придется отправиться в другую тюрьму на более длительный срок. Его нога еще не зажила, а ему самому требовался отдых. Я предложила ему воспользоваться преимуществом этой короткой передышки и уехать за город, но он сказал, что и думать об этом не может, пока в стенах Сан-Франциско находятся наши товарищи.

Наша агитация значительно пошатнула самоуверенность Фикерта. После фиаско с выдачей Саши последовали и другие неудачи: присяжные оправдали Вайнберга, причем для принятия этого решения им потребовалось всего три минуты, а разоблачение ложных доказательств обвинения заставило окружного прокурора прекратить дело в отношении Рены Муни и Эда Нолана. Но, несмотря на ошеломляющие доказательства фальсификации, двоим рабочим не удалось ускользнуть от его уловок. Двое невиновных людей, один из которых заточен на всю жизнь, а другой пребывает в ожидании смерти! Как в такой ситуации Саша мог позволить себе отпуск? Конечно же, он решил, что это невозможно, и спустя несколько дней после своего освобождения вновь с головой погрузился в кампанию

Сан-Франциско.

У защитников Муни появилась новая помощница — Люси Роббинс. Я познакомилась с ней еще в турне, но почему-то мы близко не общались, хотя я знала, что Люси талантливый организатор, принимающий активное участие в рабочем и радикальном движениях. Когда в 1915 году я читала лекции в Лос-Анджелесе, Люси и Боб Роббинсы нашли меня там. Они оказались прекрасными людьми, и между нами завязалась дружба. Люси была живым доказательством ошибочности заявлений мужчин о том, что женщины не обладают способностью разбираться в механике. Она была прирожденным инженером и стала одним из первых в стране создателей дома на колесах, комфортом и уютом превосходящего квартиры многих рабочих. Это сооружение было уникальным: помимо множества крохотных шкафчиков, буфетов и других удобных приспособлений, в нем была даже ванна. Кроме всего прочего, Люси и Боб возили с собой полностью укомплектованную мобильную типографию. В таком оригинальном передвижном жилище они переезжали от побережья к побережью, причем за рулем была Люси. Во время стоянок они брали заказы на печать, выполняли их на месте и так зарабатывали себе на жизнь. Их спутниками были патефон и две собачки, причем одна из них была непримиримой антисемиткой. Как только начинала играть какая-нибудь еврейская мелодия, эта четвероногая ненавистница евреев начинала дико выть и не умолкала до тех пор, пока эту, столь неприятную для ее ушей, музыку не выключали. Впрочем, это было единственным неудобством в счастливой жизни моих новых друзей во время их переездов.

В Нью-Йорк они прибыли ненадолго, но узнав, что могут помочь нашей кампании в защиту Муни, тут же решили остаться. Сдав свою обитель на колесах на хранение, они вселились в комнатку на Лафайет-стрит — в том же доме, в котором располагалась наша редакция. Вскоре Люси сумела очаровать профсоюзы, организовав несколько крупных мероприятий: она была и архитектором, и конструктором, и механиком, и вообще мастерицей на все руки. Она поняла, что такое реальная политика, задолго до того, как этот термин вошел в моду. Она была нетерпима к нашей идее, заключавшейся в том, что ни любовь, ни война не оправдывают каких-либо средств. Мы, в свою очередь, далеко не благосклонно относились к ее стремлению добиться результатов, даже если цель терялась в процессе. Мы много спорили, но это не уменьшало нашего уважения к Люси как к отличной соратнице и подруге. Она была живым человеком с неисчерпаемым запасом энергии, перед которым никто не мог устоять. Я была довольна, что в качестве помощницы Саша и Фитци заполучили Люси: не было никаких сомнений в том, что втроем они придадут делу должный размах.

Гарри Вайнбергер привез неплохие новости: Верховный суд снизойдет до рассмотрения нашего дела не раньше середины января, а нам, прежде, чем нас призовут явиться с повинной, должны дать месяц, начиная с момента вынесения решения. Принимая во внимание все сложности проведения загородных митингов накануне Рождества, это не могло нас не обрадовать.

И наша позиция относительно призыва, и приговор прибавили нам множество новых друзей, среди которых была Хелен Келлер 1. Я уже давно хотела познакомиться с этой замечательной женщиной, сумевшей преодолеть себя и свою ужасную неполноценность. Я

побывала на одной из ее лекций, которая произвела на меня огромное впечатление. Феноменальные достижения Хелен Келлер укрепили мою веру в почти неограниченную силу человеческой воли.

Когда мы начинали нашу кампанию, я написала ей письмо с просьбой о поддержке. Долгое время ответа не было, и я подумала было, что ее собственная жизнь слишком трудна, чтобы она могла позволить себе интересоваться трагедиями всего мира. Однако через несколько недель я получила ее ответ, заставивший меня преисполниться стыда за то, что я могла усомниться в ней. Хелен Келлер отнюдь не была занята одной лишь собой — она оказалась способна на всеобъемлющую любовь к человечеству, до глубины души ощущая его горе и отчаяние. Она писала, что уезжала со своим учителем за город, где и узнала о нашем аресте.

«Сердце мое было не на месте, — продолжала она, — и я, получив ваше письмо, очень хотела для вас что-нибудь сделать, пытаюсь решить, что же именно вам необходимо. Поверьте, сердце мое бьется ради революции, которая знаменует создание более свободного, более счастливого общества. Можете ли вы представить, каково это — в дни напряженных событий, в дни грандиозных перемен и ошеломительных перспектив, в дни революции сидеть, сложа руки? Я полна желания служить народу, я хочу любить и быть любимой, я мечтаю помогать вам во всем и дарить людям счастье. Казалось бы, уже одна сила моего стремления должна приносить удовлетворение, но, увы, ничего такого не происходит. Зачем я испытываю страстное желание стать частью благородной борьбы, если судьба осудила меня на бесплодное ожидание? На этот вопрос нет ответа. Это мучит меня, доводя практически до безумия. Но в одном вы можете быть твердо уверены: вы всегда можете рассчитывать на мою любовь и поддержку. Слепцы, которые отказываются видеть происходящее, заявляют, что в такие времена мудрые люди держат язык за зубами. Но вы не держите язык за зубами, и товарищи из ИРМ не держат язык за зубами, за что честь и хвала вам и им. Нет, моя соратница, вы не должны молчать; ваша работа должна продолжаться, хоть бы и все силы земли объединились против нее. Никогда еще смелость и сила духа не были настолько нужны, как сейчас...»

Вскоре за этим письмом последовала наша встреча, состоявшаяся на вечеринке, которую организовал журнал *Masses* («Народные массы»). Это событие призвано было стать нашим проявлением солидарности с подвергавшейся гонениям группой издателей журнала: Максом Истманом, Джоном Ридом, Флойдом Деллом и Артом Янгом. Я была рада узнать, что Хелен Келлер находится среди присутствующих на этом мероприятии. Эта прекрасная женщина, лишенная самых необходимых человеку чувств, тем не менее, благодаря своей силе духа могла и видеть, и слышать, и общаться. Наэлектризованность ее дрожащих пальцев на моих губах и сверхчувствительная рука, лежащая поверх моей, говорили мне больше, чем любые слова. Это устраняло все физические барьеры, а красота ее внутреннего мира просто зачаровывала.

1917-й стал для всех нас годом особо напряженной деятельности, а потому заслуживал соответствующих проводов. Наша новогодняя вечеринка в доме Стеллы и Тедди, как и полагалось, слагалась из языческих обрядов. В кои-то веки мы забыли о настоящем и не думали о том, что может случиться завтра. Стреляли пробки, звенели стаканы, а сердца

наполнялись молодостью в потоке гуляний и танца. Великолепный степ в деревенском стиле, подаренный нам Джулией, негритянкой-кормилицей Иана, и ее друзьями, подняли уровень общего веселья. Наша преданная Джулия источала любовь, веселье и радость. Она была душой нашей компании и моей правой рукой во время приготовления гор бутербродов, которые поглощали наши друзья. Мы весело встретили тот Новый год. Но жизнь звала вперед, каждый час свободы был бесценен, а Атланта и Джефферсон были далеко от нас.

Мое краткое турне, начавшееся после Нового года, было шумным и увлекательным. Ни один зал не мог вместить всех желающих посетить мои лекции: люди валили целыми толпами, и повсюду ощущался подъем, порожденный событиями в России.

В Чикаго я провела пять митингов, организованных Непартийной радикальной лигой, активными членами которой были Уильям Натансон, Билов и Слейтер. И конечно же, там был Бен, успешно занимающийся своей медицинской практикой, но, подобно Раскольникову, всегда тайком возвращавшийся на место прошлых преступлений.

Никогда прежде Чикаго не проявлял такого удивительно единодушного внимания к моей скромной персоне, как на моих лекциях о России. Свою лепту в это внесло и решение Верховного суда Соединенных Штатов, провозглашенное 15 января и объявившее Закон о призыве конституционным. Принудительная мобилизация, толкающая молодежь на гибель за океаном, получила одобрение и была заверена печатью высшей судебной инстанции государства. Протест против человекоубийства был объявлен вне закона. Бог и дряхлые джентльмены соизволили высказаться, и их безмерная мудрость и высочайшая милость были возведены в ранг закона.

Мы были настолько уверены, что в этом решении отразится всеобщая военная истерия, которая укрепит решения судов низших уровней, что еще за две недели до этого попрощались с друзьями в своем «Вестнике». Мы написали:

Не падайте духом, дорогие друзья и товарищи. Мы отправляемся в тюрьму с легким сердцем. Для нас лучше оказаться за решеткой, чем остаться на свободе с заткнутым ртом. Наш дух не укротить, а волю не сломить. Придет время, и мы вернемся к своей работе.

Сегодня мы прощаемся с вами. Сегодня догорает Огонь Свободы, но не отчаивайтесь, друзья! Не дайте погаснуть его искрам! Ночь не может длиться вечно. Вскоре тьма рассеется, и Новый День настанет даже на этой земле. Давайте надеяться, что каждый из нас внес свою лепту в это великое Пробуждение.

Эмма Гольдман, Александр Беркман.

За Чикаго последовал Детройт, где все четыре мои встречи имели успех благодаря организационным талантам моих друзей — Джейка Фишмана и его жены Мини, столь же красивой, сколько и талантливой. Число людей, приходивших на эти встречи, было поистине огромным, и это говорило о том, что в сердце простого американского работника зарождалась надежда, имя которой было Россия. Мое объявление о планах создания в Нью-Йорке Лиги за амнистию политических заключенных до того, пока я отправлюсь в тюрьму Джефферсона, было встречено бурными аплодисментами, и основанный в Чикаго фонд

пополнился значительной суммой.

В Анн-Арбор обе мои лекции готовила моя старая подруга и замечательная соратница Агнес Инглис. Однако благородные Дочери Американской революции желали чего-то иного, а кое-кто из этих пожилых дам не замедлил явиться с протестом к мэру, имевшему несчастье быть немцем по происхождению. И что он мог сделать, кроме как претворить в жизнь дух истинной американской независимости? Естественно, мои лекции запретили.

Конец января окончательно разбил все надежды, которые наивно питали многие наши друзья. Верховный суд отказал нам и в повторном слушании, и в отсрочке. На 5 февраля было назначено наше возвращение в тюрьму. Но у нас оставалось еще целых семь дней свободы, близости с любимыми, общества верных друзей, и мы дорожили каждой секундой. Нашим последним появлением на публике стал митинг в Нью-Йорке, посвященный основанию Лиги за амнистию политических заключенных.

На него прибыли делегаты Союза русских рабочих из всех уголков Соединенных Штатов и Канады. Нас с Сашей пригласили в качестве почетных гостей, встречали овациями, а все присутствующие вставали, приветствуя нас. Саша выступал первым. В честь Октябрьской революции и в знак особой признательности к конференции он хотел сказать пару слов по-русски. Он действительно начал говорить на русском, но смог выговорить лишь «Дорогие товарищи!» и продолжил по-английски. Я думала, что справлюсь с этим лучше, но тоже ошиблась: американский образ жизни и английская речь настолько сильно проникли в нас, что мы утратили способность бегло говорить на родном языке. И всё же мы по-прежнему следили за событиями в России, за русской литературой, сотрудничали с радикальными русскими организациями в Соединенных Штатах, и поэтому пообещали своим слушателям, что в следующий раз выступим на их прекрасном языке и, может статься, в свободной стране.

Из-за холодов газ в доме Стеллы никак не разгорался, но в неверном свете свечи рождались и более страшные заговоры, чем наш: мы создавали Лигу за амнистию политических заключенных. При появлении новой организации на свет присутствовали Леонард Эбботт, доктор Эндрюс, Принс Хопкинс, Лиллиан Браун, Люси и Боб Роббинсы и другие наши соратники. Принса Хопкинса единогласно избрали председателем, Леонарда назначили казначеем, а Фитци — секретарем. Деньги, которые я собрала на это предприятие в Чикаго и Детройте, были объявлены стартовым капиталом нового движения. Была уже поздняя ночь, точнее, раннее утро 4 февраля, когда наши друзья устроили нам одновременно встречу и проводы. Правда, нужно еще было вычитать гранки моей брошюры «Правда о большевиках», но это пообещала взять на себя предусмотрительная Фитци.

А уже несколько часов спустя мы отправились к зданию Федерального суда, чтобы сдать на милость Фемиды. Я предложила тамошним чиновникам отпустить нас в тюрьму самих — мы даже готовы были заплатить за билет, — однако ответом мне были лишь недоверчивые улыбки. Так что купе, в котором я ехала в узилище Джефферсон-Сити, со мною вновь делили помощник шерифа и его супруга.

Подруги-заключенные обрадовались мне, словно давно потерянной и счастливо нашедшейся сестре. Они очень сожалели, что Верховный суд решил дело не в мою пользу, но надеялись, что отбывать наказание меня привезут обратно в Джефферсон-Сити. Они полагали, что мне, возможно, удастся добиться некоторых послаблений и улучшений режима, если я смогу пробиться к мистеру Пейнтеру, начальнику тюрьмы. Он считался добряком, но увидеть его можно было нечасто, и все были уверены, что он просто не в курсе того, что происходит в женском крыле возглавляемого им учреждения.

Еще раньше, во время моего первого двухнедельного пребывания здесь я осознала, что заключенные тюрьмы Миссури, равно как и застенков Блэквелл-Айленд — выходцы из низших социальных слоев. За исключением моей сокамерницы, женщины, принадлежащей к среднему классу, девяносто с лишним заключенных были нищими преступницами, порождением мира бедности и серости. Неважно, черные или белые, большинство из них были доведены до отчаяния условиями, в которых они оказывались еще при рождении. Мое первое впечатление об этом подкреплялось ежедневными контактами с заключенными в течение без малого двух лет, и, невзирая на риторику криминальных психологов, среди них я видела не преступниц, а лишь надломленных, обездоленных и лишенных надежды горемык.

Тюрьма в Джефферсон-Сити была образцом во многих отношениях. Камеры были вдвое больше тех рассадников болезней, в которых я побывала в 1893 году, хотя их и нельзя было назвать достаточно светлыми — разве что в очень солнечные дни, или если кому-то посчастливилось оказаться в камере, выходящей прямо на окно. В большинстве из них не было ни света, ни вентиляции. Видимо, южане не слишком беспокоятся о свежем воздухе: судя по всему, это ценность в моей новой обители вообще была под запретом. Окна в коридоре открывались только в самую жару. Наша жизнь была очень демократичной в том смысле, что ко всем нам относились одинаково, заставляли дышать одним и тем же спертым воздухом и мыться в одной бадье. Однако огромным преимуществом было то, что никому не приходилось делить камеру с кем бы то ни было. Это могли по достоинству оценить лишь те, кто перенес тяжкое испытание постоянным присутствием другого человека.

Мне сказали, что в этой тюрьме работа по контракту была официально отменена. Теперь нанимателем выступал штат, но обязательные нормы, предписанные новым работодателем, были не намного легче, чем каторжный труд, которого требовал частный наниматель. На обучение рабочим навыкам давалось два месяца. Нужно было шить куртки, рабочие халаты, чехлы для автомобилей и подтяжки. План варьировался от сорока пяти до ста двадцати одной куртки в день, или от десяти до восемнадцати десятков подтяжек. И хотя сам принцип работы на машинке был одним и тем же, не завися от конкретного задания, некоторые из таковых требовали двойных физических усилий. Работать заставляли всех, не делая скидок на возраст или состояние здоровья. Даже болезнь не считалась достаточным основанием для освобождения от работы — его мог гарантировать только очень серьезный диагноз. Если раньше женщине не доводилось шить, или у нее не было склонности к этому делу, выполнение нормы для нее было связано с постоянным беспокойством и проблемами. Индивидуальность человека здесь во внимание не принималась, и поправку на физические ограничения не делали — разве что для нескольких любимиц администрации, обычно самых жалких и никчемных.



Все заключенные как огня боялись швейной мастерской, в основном из-за ее начальника. Это был молодой человек двадцати одного года, руководивший ей с шестнадцатилетнего возраста. Будучи амбициозным юношей, он принуждал женщин выполнять план весьма хитроумными методами. Если оскорбления не помогали, в ход шли угрозы. Узницы так его боялись, что редко осмеливались что-то сказать в ответ, а если кто-то из них все-таки решался на это, то тут же становился мишенью для репрессий. Этот мальчишка не гнушался даже тем, чтобы украсть что-то из изготовленного нами, чтобы потом доложить о дерзости и неповиновении и таким образом увеличить наказание за невыполненные нормы. Четыре неудовлетворительных оценки в месяц означали понижение в рейтинге, что, в свою очередь, влекло за собой лишение личного времени.

Тюрьма Миссури работала по системе оценок заслуг, в которой класс А был самым высоким. Получить эту отметку означало уменьшить себе срок почти вдвое, по крайней мере, это касалось заключенных, осужденных по законам штата. Мы же, осужденные на федеральном уровне, могли урботаться до смерти, не получая за свои усилия никакого вознаграждения. Единственным возможным для нас уменьшением срока были традиционные два месяца от каждого полного года, проведенного в заключении. Именно боясь не получить класс А, заключенные штата выбивались из сил, чтобы выполнить план.

Начальник цеха, конечно же, был всего лишь винтиком в тюремной системе, центром которой был Миссури. Этот штат имел деловые отношения со множеством частных предприятий, привлекая клиентов со всех уголков Соединенных Штатов, как я скоро поняла по этикеткам, которые мы должны были нашивать на произведенные вещи. Даже беднягу Эйба превратили в эксплуататора труда заключенных: на ярлыке фондовой биржи Линкольна в Милуоки был изображен Освободитель, светлый лик которого был обрамлен девизом: «Верен Родине, предан делу». Фирмы покупали наш труд за бесценок, и поэтому могли позволить себе перепродавать свой товар по более низкой цене, чем предприятия, на которых трудились рабочие, состоявшие в профсоюзах. Иными словами, штат Миссури был для нас порабителем и истязателем, а для организованного рабочего класса — штрейкбрехером. И потому в этом достойном всяческих похвал начинании было весьма полезно иметь в швейной мастерской человека, который притеснял бы нас официально. Ну, а капитан Гилван, заместитель начальника тюрьмы, и Лайла Смит, главная надзирательница, составляли тройственный союз, позволявший контролировать соблюдение тюремного режима.

Гилван любил применять телесные наказания, пока в Миссури был разрешен этот метод исправления, но наступили времена, когда вместо порки стали применяться такие кары, как лишение прогулок, или помещение заключенных в подвал на двое суток на хлеб и воду, обычно с субботы до понедельника, либо «слепая» камера. Эта камера была метр на два с половиной, абсолютно темная; наказанной разрешалось только одно одеяло, а дневная порция еды состояла из двух ломтиков хлеба и двух кружек воды. В этой камере заключенных держали от трех до двадцати двух дней. Были еще так называемые «арены для родео», но во время моего пребывания в тюрьме для наказания белых женщин они не использовались.

А еще капитану Гилвану нравилось наказывать заключенных в слепой комнате, подвешивая их за запястья. «Вы должны выполнять свои нормы! — ревел он. — Нет такого слова „не могу“! За него я наказываю с особенным удовольствием, зарубите себе на носу!» Он не позволял нам отлучаться с рабочего места без разрешения — даже в туалет сходить было нельзя. Однажды я подошла к нему после необычайно бурной вспышки гнева. «Должна вам сказать, что выполнять ваши нормы — это самая настоящая пытка, особенно для женщин постарше, — сказала я. — А скудное питание и постоянные наказания лишь усугубляют их положение». Капитан оживился. «Послушай-ка, Гольдман, — проревел он. — Ты что-то задумала. Я это чувствую с тех самых пор, как ты прибыла сюда. Раньше заключенные никогда не жаловались и всегда выполняли план. Это ты им головы чепухой забиваешь. Так что лучше будь осторожней. Пока что мы обращались с тобой по-хорошему, но если ты не прекратишь свою агитацию, мы накажем тебя, как остальных, поняла?»

«Поступайте, как сочтете нужным, капитан, — ответила я. — Но я повторяю: ваши нормы невыносимы, и никто не сможет выполнять их постоянно без ущерба силам и здоровью».

Он ушел, за ним поспешила мисс Смит, а я вернулась к своей машинке.

Надзирательница в мастерской, мисс Анна Гунтер, была более человечной. Она терпеливо выслушивала жалобы женщин, часто разрешала им уйти с работы, если они плохо себя чувствовали, и даже не обращала внимания, если норма не была выполнена. Она была необычайно добра ко мне, и я чувствовала себя виноватой, покидая свое место без разрешения. В тот раз она не упрекнула меня, но сказала, что говорить в такой манере с капитаном было слишком опрометчивым. Мисс Анна была добродушной — настоящее подспорье для заключенных; увы, она была всего лишь подчиненной.

Правила же нами Лайла Смит, женщина в возрасте за сорок, с юности работавшая в исправительных учреждениях. Небольшого роста, плотная — вся ее внешность говорила о суровости и неприветливости. Вела она себя заискивающе, но под этой маской скрывались жестокость и строгость пуританки, безжалостно ненавидящей любые эмоции, которым не нашлось места в ее собственной душе. Сердце ее не ведало ни жалости, ни сострадания, а сама она была беспощадна к тем, в ком чувствовала их. Того, что заключенные любили меня и доверяли мне, было достаточно, чтобы упасть в ее глазах. Понимая, что я нахожусь в хороших отношениях с начальником тюрьмы, она никогда открыто не проявляла своей неприязни, но коварно действовала исподтишка.

Выматывающие звуки мастерской и бешеный темп работы подкосили меня в первый же месяц. Обострился мой желудочный недуг, к тому же я страдала от сильных болей в шее и позвоночнике. У тюремного врача среди заключенных была не лучшая репутация: они утверждали, что он ничего не знает и слишком боится мисс Смит, чтобы отпустить заключенную из мастерской, как бы плохо ей ни было. Я и сама видела, как заключенных, едва стоящих на ногах, доктор отсылал обратно на работу. В женском отделении не было лазарета, где можно было бы осмотреть пациенток, и даже серьезно больных содержали в их камерах. Я не хотела идти к врачу, но боль стала такой несносной, что мне пришлось с ним повидаться. Меня удивили его вежливые манеры. Он сказал, что ему передали, что я себя плохо чувствую, но почему же я не пришла раньше? Он прописал мне отдых и сказал,

что мне не следует возвращаться на работу, пока он не даст на это разрешения. Его неожиданный интерес ко мне нельзя было даже сравнить с тем, как он относился к другим заключенным. Я часто думала: не с вмешательством ли мистера Пейнтера была связана эта его доброта ко мне?

Доктор навещал меня в камере каждый день, массировал мне шею, развлекал забавными историями и даже прописал особый бульон. Улучшение шло медленно, особенно из-за угнетающего действия моей камеры. В серых, грязных стенах, в нехватке света и без вентиляции, в отсутствии возможности читать или как-то по-другому проводить время с пользой все дни были тягостно долгими. Прежние обитатели этой камеры делали жалкие попытки украсить свой тюремный быт семейными фотографиями и газетными вырезками, изображавшими звезд дневных и вечерних шоу, однако сейчас на стенах оставались лишь черно-желтые клочки, фантастические очертания которых лишь добавляли мне беспокойства. Однако была у моего огорчения и другая причина — неожиданная задержка писем: вот уже целых десять дней ни от кого не приходило ни строчки.

Две недели без работы помогли мне понять, почему заключенные предпочитали спокойному сидению в камере изнурительный труд: он был для них единственной отдушиной, шансом избавиться от отчаяния. Никому из сидельцев не нравилось безделье. Мастерская, даже со всеми ее ужасами, была все же лучше, чем одни и те же четыре стены, и я тоже вернулась к работе. Это была напряженная борьба между физической болью, обрекающей меня на постельный режим, и душевными муками, вынуждающими меня снова возвращаться в мастерскую.

Наконец, мне передали большую пачку писем с запиской от мистера Пейнтера, в которой было сказано, что ему по приказу Вашингтона пришлось отправить все мои письма — и адресованные мне, и отправленные мной — федеральному инспектору в Канзас-Сити на проверку. Я немедленно почувствовала себя очень важной персоной: как же, меня считают опасной даже во время моего заключения. И все равно, мне бы хотелось, чтобы именно сейчас, когда каждую написанную мной или предназначенную мне строку внимательно изучали главная надзирательница и начальник тюрьмы, в Вашингтоне были бы не так внимательны к моим письмам.

Впоследствии я узнала причину внезапно вспыхнувшей заботы федеральных властей о том, что я думаю и пишу. Мистер Пейнтер разрешил мне раз в неделю писать моему адвокату Гарри Вайнбергеру, и в одном из писем я прокомментировала речь против Тома Муни, произнесенную сенатором Феланом в Конгрессе. В офис губернатора Калифорнии бурным потоком лились тысячи воззваний, каждое из которых просило, требовало и умоляло сохранить Муни жизнь. Столь радикальные меры, предпринятые сенатором Соединенных Штатов мне в отместку, были и жестокими, и унижительными одновременно. Естественно, мои замечания были для мистера Фелана не слишком лестны. Впрочем, я забыла, что с тех пор, как Америка вступила в войну, любой чиновник тут же превращался в Гесслера, отдать которому дань уважения считалось национальным долгом.

Наряду с приятными новостями письма принесли и немало волнения. В квартире Фитци прошел обыск. Ночью, пока она и наша юная секретарша Паулин спали, федеральные

агенты и сыщики ворвались в дом и поспешили к ним в спальню, даже не дав девушкам одеться. Офицеры утверждали, что ищут призывника из ИРМ, который дезертировал из армии. Фитци ничего не было известно об этом человеке, но это не стало для ретивых служаек препятствием к тому, чтобы перевернуть всё на ее столе вверх дном, проверить письма и конфисковать всё, что нашлось, включая гранки «Избранных сочинений» Вольтарины де Клер, которые мы опубликовали после ее смерти.

В письме Стеллы явственно ощущалось ее беспокойство по поводу книжной лавки «Матушки-Земли», которую они с нашим верным Шведом основали в Гринвич-Виллидж. За ними по пятам всюду следовали какие-то подозрительные личности, атмосфера так накалилась, что люди боялись даже вздохнуть. Мартовский номер «Вестника», который выслала Стелла, стал предвестником весны. В нем содержался отчет о поездке Гарри Вайнбергера в Атланту к Саше и двум другим нашим ребятам. Саша убедил его в том, что продолжать борьбу за жизнь Тома Муни просто необходимо, и предупредил Гарри, что последствия прекращения нашей деятельности в его защиту могут стать фатальными. Мой храбрый товарищ! Как же сильно он сопереживал жертвам Сан-Франциско, как он старался ради них! Даже теперь он проявлял больше заботы о Муни, чем о своей судьбе. Меня воодушевила его бодрость, равно как и настроение остальных наших друзей, чьи статьи тоже вышли в «Вестнике». Было очень тяжело решиться на закрытие журнала, но зная, что Стелла в опасности, я написала ей с просьбой прекратить издание и закрыть лавку.

Отправляя нас подальше от Нью-Йорка, официальный Вашингтон, вне всяких сомнений, хотел сделать нашу участь еще более тяжелой. Иной причины упрятать Сашу в Атланте просто и быть не могло: его вполне можно было отправить в Левенворт, добраться в который было намного проще, чем в Джорджию. Поскольку Джефферсон-Сити, эта узловая станция, была всего в трех часах езды от Сент-Луиса, количество желающих меня навестить было больше, чем я могла принять. Мне, право, стоило бы посмеяться над разочарованием Дядюшки Сэма, если бы ему не удалось ударить по Саше. Мне передали, что ужасные условия в тюрьме Атланты, заведенные там с незапамятных времен, едва ли улучшились, и проведенному четырнадцать лет в чистилище Пенсильвании Саше снова пришлось страдать сильнее, чем мне.

Моим первым посетителем был Принс Хопкинс, глава Лиги за амнистию политических заключенных. Он ездил по стране от имени этой организации, создавая отделения и собирая на это средства, а заодно и информацию о количестве заключенных. Хопкинс поинтересовался, есть ли в тюрьме какая-нибудь другая работа, которая помогла бы мне сохранить здоровье, и предложил поговорить об этом с начальником тюрьмы. Я сказала, что скоро на свободу должна была выйти женщина-швея, работавшая на починке белья. Вскоре после его визита я получила от него письмо, в котором говорилось, что мистер Пейнтер пообещал поговорить с мисс Смит о смене моего места работы, но потом от начальника тюрьмы пришло сообщение о том, что главная надзирательница уже успела поставить на это место кого-то другого.

Потом приехал Бен Кейпс, настоящий лучик света в моем темном царстве, и его жизнерадостность стала истинным бальзамом для моей души. В вечных делах и заботах на свободе мне было некогда узнать и оценить этого парня по достоинству: только в тюрьме

человек начинает понимать и стремиться к тому, кто близок ему по духу. И никогда еще моя дружба с Беном не была для меня так дорога, как в тот его приезд. Он прислал огромную коробку деликатесов из самой дорогой лавки в Джефферсон-Сити, и мои подруги-заключенные бурно восторгались этим, выражая надежду, что и другие мои посетители окажутся столь же щедрыми. Мы перестали голодать по вторникам и пятницам — в эти постные дни нам давали рыбу — несвежую и совсем понемногу. Вообще, вся еда здесь была либо плохой, либо ее не хватало, тем паче тяжело работающим людям, но по вторникам и пятницам мы практически умирали с голоду.

Жизнь в застенках делает человека на удивление изобретательным. Например, одна женщина придумала необычный подъемник, состоящий из мешка, привязанного к ручке метлы. Это нехитрое устройство просовывали сквозь решетку камеры этажом выше, и я, находясь прямо под ней, захватывала мешок к себе в камеру, наполняла его бутербродами и сладостями, а затем выталкивала его как можно дальше, чтобы соседи сверху смогли втянуть мешок обратно; аналогичная процедура проделывалась и с теми, кто обитал внизу. Далее эти продукты передавались от камеры к камере в одном ряду, и надзирательницы имели в этом предприятии свою долю, а с их помощью мне удавалось накормить даже тех, кто находился на дальних уровнях.

Мои съестные припасы пополняли многие дружески настроенные ко мне люди, и особенно товарищи из Сент-Луиса. Они даже заказали пружинный матрас для моей койки и договорились с лавочником в Джефферсон-Сити, чтобы тот посылал мне все, что я закажу. Именно их отзывчивость и солидарность позволили мне делиться с моими тюремными подругами.

Приезд Бенни Кейпса еще более усугубил мое разочарование в Большом Бене. Причиненная им в последние два года нашей жизни боль подорвала мою веру в него, наполнив мою душу обидой. После его последнего отъезда из Нью-Йорка я вознамерилась порвать так долго сковывавшие меня цепи. Я надеялась, что два тюремных года помогут мне это сделать, однако Бен как ни в чем не бывало продолжал писать. Его письма, от которых веяло прежними заверениями в любви, обжигали, точно угли. Но больше верить ему я не могла, хотя мне хотелось поверить. Поэтому я отказала ему, когда он попросил разрешения навестить меня. Я даже намеревалась попросить его больше мне не писать, но ему самому угрожал тюремный срок, который он на себя навлек, когда мы еще были вместе, а это по-прежнему привязывало его ко мне. То, что он скоро станет отцом, добавляло масла в огонь моей несдержанности, а подробные описания обуявших его чувств и восторг от крошечных одежек, подготовленных для будущего малыша, открыли мне неожиданную сторону характера Бена. Было ли это связано с тем, что я не смогла познать чудо материнства, или с тем, что другая женщина дает Бenu то, что не смогу дать я, но я раздражалась всё сильнее — и от его речей, и от него самого, и от всех, кто с ним был связан. Известие о рождении его сына сопровождалось официальным уведомлением о том, что апелляционный суд Кливленда оставил его приговор без изменений. Бен писал, что уезжает в этот город отбывать шестимесячное наказание в рабочем доме. Ему пришлось оторваться от всего, чего он так сильно ждал, и отправиться в тюрьму. И снова мой внутренний голос становился на его защиту, заглушая прочие порывы моего сердца.

Наконец, меня перевели в камеру, расположенную напротив окна, и теперь солнце хоть и изредка, но поглядывало на меня. Кроме того, начальник тюрьмы приказал главной надзирательнице дать мне возможность мыться трижды в неделю, и вскоре эти новшества не замедлили благотворно сказаться на моем здоровье. Правда, его обещание побелить мою камеру так и осталось обещанием, но в освежении стен нуждалась вся тюрьма, а мистеру Пейнтеру всё никак не удавалось добиться приобретения краски. В этом он не мог сделать для меня исключения, но здесь я была с ним согласна. Чтобы скрыть ужасные отметины на стенах, я придумала кое-что другое — Стелла прислала мне гофрированную бумагу приятного зеленого цвета, которой я отделала всю камеру, и вскоре она стала выглядеть весьма привлекательно. Впечатление уюта усиливали красивые японские гравюры, которые я получила от Тедди, и полка с постепенно скапливавшимися книгами.

В женском крыле тюрьмы библиотеки не было, а выносить книги из мужского отделения нам не позволяли. Как-то я спросила мисс Смит, почему нам нельзя брать литературу из мужской библиотеки. «Потому что я не могу позволить девушкам ходить туда самим, — сказала она, — а времени их сопровождать у меня нет. Они же определенно начнут там флиртовать!» «А разве это может нанести какой-то ущерб?» — наивно поинтересовалась я, но Лайла в ответ лишь возмутилась.

Я попросила Стеллу поговорить кое с кем из издателей, а также упросить наших друзей высылать мне книги и журналы. В скором времени четыре ведущих издательства Нью-Йорка стали снабжать меня своей продукцией. Поначалу большинство из присланного было недоступно для понимания моих товаров по несчастью, но вскоре они выучились наслаждаться хорошими романами.

Благотворное воздействие чтения наиболее ярко продемонстрировала одна китайка, отбывавшая долгий срок за убийство мужа. Она была очень одинока, держалась особняком и никогда не общалась с другими заключенными. Она ходила взад-вперед по двору, что-то бормоча себе под нос, являя собой типичную картину первых признаков помешательства.

Однажды от своих друзей из Пекина я получила китайский журнал с моей фотографией на обложке. Поскольку китайский я знала еще хуже, чем эта девушка английский, я подарила журнал ей. При виде знакомого текста ее глаза наполнились слезами. На следующий день она попыталась рассказать мне на своем ломаном английском, как приятно что-то почитать и каким интересным оказалось издание. «Ты великий зенсина, много писать о тебе», — повторяла она, указывая на журнал. Мы подружились, и она призналась мне, как же случилось так, что она убила любимого мужчину. Они приняли христианство, и священник, который венчал их, сказал, что христиане в браке связаны Богом на всю жизнь — один мужчина с одной женщиной. Но потом она узнала, что у ее мужа были другие женщины, а когда она выразила свое недовольство, он ее избил. Он часто говорил ей, что у него, помимо жены, всегда будут другие женщины, и за это она его убила. С тех пор она считала, что все «христиане» лжецы, и больше не верила им. Она думала, что я тоже «христианка», но в журнале прочла, что я атеистка, и потому она может мне доверять. Правда, ей не нравилось, что я дружелюбно отношусь к цветным заключенным — она была уверена, что они неполноценные и бесчестные. Я заметила, что некоторые люди точно так же пренебрежительно относились к ее расе, а в Калифорнии вообще устраивали китайские

погромы. Она знала об этом, но яростно настаивала на том, что китайцы «не пахнуть, не глупый, длугой люди».

Поскольку я официально считалась безбожницей, то не имела права ходить на воскресные вечера. Пока я жила в темной сырой камере, мне тяжело давалось это лишение, но теперь я с радостью приняла его. Когда все женщины уходили во двор, во всём крыле воцарялась тишина, и я могла погрузиться в чтение или писать. Среди полученных мною книг был присланный моей подругой Элис Стоун Блэквелл сборник писем Екатерины Брешко-Брешковской и биографический очерк о ней. Борьба за свободу всегда символична: пребывая в заключении, я имела возможность прочитать рассказ о ссылке нашей Маленькой Бабушки! И всё же, как бы ее ни преследовали, ни ей, ни другим женщинам-политзаключенным России не пришлось изведать принуждение к тяжелому труду. Как бы удивилась Екатерина, если бы я ей описала нашу мастерскую, похожую на каторгу времен диктатора Романовых! В одном из своих писем, адресованных мисс Блэквелл, Бабушка писала: «Ты, дорогая, можешь писать, не боясь быть арестованной, заключенной в тюрьму и отправленной в ссылку». В другом она с энтузиазмом разглагольствовала о книге «Новая свобода», написанной бывшим профессором Принстона, а ныне президентом Соединенных Штатов. Я думала, что бы сказала эта милая старушка, если бы своими глазами увидела, что сделал со страной ее герой из Белого дома: отмена всех свобод, рейды, аресты и реакционная ярость — вот следствия его режима.

Новость о том, что Брешко-Брешковская приезжает в Америку, преисполнила меня надежды на то, что правда о Советской России наконец-то станет достоянием общественности, а сама Екатерина постарается предпринять решительные меры против сложившейся в США социальной ситуации. Я знала, что Бабушка не меньше моего выступала против социализма большевиков, поэтому она должна раскритиковать их стремление к диктатуре и централизации, однако вместе с тем она ценит их заслуги перед Октябрьской революцией и сумеет защитить от клеветы в американской прессе. Разумеется, великая старуха призовет Вудро Вильсона к ответу за его участие в заговоре с целью подавить Революцию. Предвкушение того, что она сделает, несколько облегчило мучения из-за моей беспомощности в тюрьме.

Сообщения о ее первом появлении на публике в Карнеги-Холл под покровительством Кливленда Доджа и других богатееров, и о жестком ее осуждении большевиков просто шокировали меня. Екатерина Брешко-Брешковская, одна из тех, чья революционная деятельность в течение последнего полувека готовила почву для Октябрьского восстания, теперь была в окружении злейших врагов России и тесно сотрудничала с белыми генералами и ярыми антисемитами, а также реакционными элементами в Соединенных Штатах. Это казалось невероятным. Я попросила Стеллу проверить эти сведения, продолжая держаться за свою веру в ту, которая была моим вдохновением и путеводной звездой. Ее бесхитростное величие, ее очарование и чудесный нрав, в которые я просто влюбилась во время нашей совместной работы в 1904 и 1905 годах, слишком сблизили меня с Бабушкой, чтобы я могла взять и отказаться от нее. Я напишу ей! Я расскажу ей о том, что думаю относительно Советской России; я заверю ее, что поддерживаю ее право на критику, но буду просить ее не становиться невольным орудием тех, кто старается подавить Революцию. Ко мне на свидание должна приехать Стелла; я попрошу ее вынести мое письмо

Бабушке, напечатать его и лично доставить ей.

Мои товарищи по несчастью зауважали меня еще больше: я получила отметку, дающую право считаться по классу А. Однако это произошло не столько из-за моих стараний — я по-прежнему не могла выполнить нормы, — сколько благодаря доброте нескольких цветных девушек из мастерской. Возможно, они были сильнее и выносливее, а может, дольше работали в мастерской, но только большая часть заключенных негритянок управлялись с нормой лучше белых женщин. Некоторые из них были настолько проворны, что умудрялись закончить свой урок уже к трем часам пополудни. Будучи бедными и не имея друзей, а потому отчаянно нуждаясь хоть в каких-нибудь деньгах, они помогали отстающим, и за это им полагалось по пять центов за куртку. К сожалению, большинство белых женщин тоже были бедны и не могли платить; меня же считали миллионершей — мои скромные финансы частенько использовались для предоставления «ссуд», и я с радостью на это соглашалась. Но девушки, помогающие мне по работе, не хотели принимать вознаграждение — их обижало само предложение взять деньги. Они отказывались, говоря, что я и так делюсь с ними едой и книгами; так как же они могут еще брать с меня деньги? Они согласились с моей маленькой подружкой-итальянкой по имени Дженни де Лючия, которая подрядилась быть моей служанкой. «Мы не станем брать у тебя деньги», — заявила она, и остальные женщины присоединились к ней. Благодаря этим добрым душам я поднялась до класса А, что позволило мне отправлять по три письма в неделю, точнее, даже четыре — ведь у меня было право на дополнительное письмо моему адвокату.

Накануне 27 июня мои темнокожие подруги выполнили за меня всю норму по курткам на следующий день — они помнили о том, что у меня наступал день рождения. «Было бы здорово, если бы в этот день мисс Эмма могла вообще не ходить в мастерскую», — решили они. На следующее утро мой стол был завален письмами, телеграммами и цветами от родственников и товарищей, а также бесчисленным множеством посылок от друзей из разных уголков страны. Меня переполняла гордость за то, что мне дарят столько любви и внимания, но ничто не тронуло меня так сильно и глубоко, как подарок моих товарок по несчастью.

Приближалось 4 июля, и женщины пребывали в радостном ожидании: им было обещано, что в этот день им покажут кино, у них будет не одна, как обычно, а целых две прогулки, а вечером организуются танцы. Конечно, не с мужчинами — не приведи Господь! Танцевать можно только друг с другом, зато будет позволено заказать в лавке безалкогольные напитки, а ужин будет праздничным. Увы, на деле фильм оказался никчемным, а праздничный ужин — скудным, и женщины рассердились. Особенно их разозлил отказ мисс Смит освободить темнокожую девушку из «слепой» камеры — ее посадили туда по жалобе одной из любимиц надзирательницы, тоже темнокожей, которую подозревали в наущничестве и ненавидели всей душой. Было очень неприятно видеть ее разодетой и распоряжающейся на празднике Независимости, пока ее жертва сидела на хлебе и воде. Несколько женщин решительно направились к доносчице, и этот великий день завершился массовой потасовкой. Мисс Смит пришлось наказать не только обидчиц своей присной, но и ее саму: их всех закрыли в подвале.



В следующем письме я описала события этого вдохновенного для всех патриотов дня. Однако мое послание задержали и впоследствии вернули мне с пометкой, что отправлять за пределы тюрьмы рассказы о любых происшествиях в ее стенах запрещено. До этого я часто рассказывала в своих посланиях о том, что здесь происходило, и мистер Пейнтер спокойно пропускал их на волю, так что я пришла к выводу, что летопись 4 июля дошла не дальше главной надзирательницы.

Поэтому большим праздником, чем 4 июля, стал для меня трехдневный визит моей дорогой Стеллы. Мне удалось передать ей свое письмо Бабушке, несколько записок, которые просили вынести мои соседки, и образцы поддельных этикеток из нашей пошивочной. Это были три дня свободы от мастерской, которые мы с моей любимой малышкой провели в нашем собственном мире. Увы, это свидание было долгожданным, но быстротечным, а после него меня ожидало унылое возвращение в тюремную рутину.

В своем письме Бабушке я умоляла ее не считать, будто я отрицаю ее право критиковать Советскую Россию, или желаю, чтобы она умалчивала о промахах большевиков. Я отмечала, что мои взгляды отличны от их воззрений, а мое отношение к любой форме диктатуры неизменно отрицательно, но настаивала, что это не имеет значения в то время, пока все правительства мира ополчились против большевиков. Я просила ее одуматься и не изменять своему славному прошлому и большим надеждам нынешнего поколения России.

Стелла рассказала, что Бабушка, хоть и одряхлела, но осталась прежней бунтаркой, и ее сердце горело за народ, как и раньше. И все же то, что она позволяла реакционным элементам использовать себя, оказалось правдой. Невозможно было сомневаться в Бабушкиной порядочности или думать, будто она способна на сознательное предательство, но одобрить ее отношения к Советам я не могла. Если принять во внимание обоснованность ее критики, размышляла я, то почему она не заявила об этом с радикальной трибуны рабочим — вместо того, чтобы апеллировать к мерзкому сборищу, способному свести на нет достижения Революции? Этого я ей простить не могла, и потому отвергла ее предположение о том, что однажды буду на ее стороне и стану работать вместе с ней против большевиков, бросивших вызов всему реакционному миру. Я не могла понять, как такая женщина, как Брешко-Брешковская, могла оставаться слепой и молчать при виде ужасной ситуации в Америке. С тех пор, как Петр Кропоткин высказался о своем отношении к войне, ничто еще не поражало меня так, как это ее негласное одобрение всего ужаса, творящегося вокруг нее.

Что касается местных либералов и социалистов, ставших правительственными стукачами, то ко всем этим расселам, бенсонам, симмонсам, гентам, стоуксам, грилам и гомперсам я испытывала лишь презрение. Они всегда были лишь политическими оппортунистами и просто выполняли свое предназначение. Сложнее было понять германофобию таких людей, как Джордж Херрон 2, Инглиш Уоллинг 3, Артур Баллард и Льюис Пост 4. Кто-то прислал мне книгу Херрона «О необходимости разрушения Германии». Мне еще никогда не доводилось сталкиваться со столь кровавым, жестоким и ошибочным представлением о целом народе. И эту книгу написал человек, который отрекся от церкви из-за своего революционного интернационализма!

Примерно так же Артур Баллард в своей «Мобилизации Америки» повторял бредовые измышления, распространяемые Херроном и его не менее достойными последователями в лице Джона Грилла сотоварищи. Баллард, бывший подвижник Университетского благотворительного общества, проделавший такой титанический труд в России 1905 года, теперь отправлял свои взгляды, свой талант литератора прямым в навозную кучу реакции. Я почти радовалась тому, что его друг Келлогг Дёрланд 5 не дожил до того, чтобы присоединиться к прочим сторонникам убийств и разрушений. По крайней мере, его самоубийство из-за несчастной любви затронуло только двоих, а вот предательство американской интеллигенции своих идеалов стало трагедией для всей страны. Я не могла отделаться от ощущения, что эта группа несет даже большую ответственность за тотальный ужас в Соединенных Штатах, чем самые отъявленные ура-патриоты.

Единственным отрадным фактом было то, что отдельные люди все-таки сохранили здравомыслие и храбрость. Рэндольф Берн, чей великолепный анализ войны мы перепечатали у себя в «Матушке-Земле», продолжал обличать отсутствие добропорядочности и проницательности среди либеральной интеллигенции. Ему вторили профессора Кэттел и Дана, уволенные из Колумбийского университета за их якобы лжетеории, а также другие ученые, осмелившиеся заявить о своем неприятии войны. Но более всего воодушевление приносило новое поколение радикалов и то рвение, которое проявляли большинство из них. Ни тюрьма, ни пытки не могли заставить их взять в руки оружие. Макс Фрухт и Элвуд Мур из Детройта, а также Остин Саймонс, поэт из Чикаго, заявили, что готовы понести любое наказание, но не станут солдатами. Они отправились в тюрьму, как и Филлип Гроссер, Роджер Болдуин и десятки других.

Меня приятно удивил Роджер Болдуин. В прежние годы его взгляды на общество казались мне довольно противоречивыми, а сам он — человеком, который стремится угодить всем и каждому. Однако его позиция во время того, как его судили за уклонение от призыва, его искреннее признание анархизма, его безоговорочное отрицание права государства на принуждение индивида заставили меня стыдиться своих прежних мыслей. Я написала ему, признаваясь в своем недоброжелательном ранее мнении о нем и заявляя, что его пример стал мне уроком: в оценке людей и их поступков следует быть взвешенной и осторожной.

Гражданские тюрьмы и армейские казармы были переполнены сознательными отказниками, которые не боялись никакого, даже самого безжалостного отношения к себе. Самым громким среди множества аналогичных стало дело Филлипа Гроссера.

Он зарегистрировался в качестве пацифиста по политическим причинам и отказался подписывать справку о зачислении на военную службу. Несмотря на то, что это являлось федеральным гражданским преступлением, молодого человека передали военным властям и приговорили к тридцати годам тюрьмы — за отказ выполнять армейские приказы. На нем испробовали разные виды пыток, в том числе приковывание к двери камеры, содержание в подвале и физическое насилие. Его долго перевозили из узилища в узилище, пока, наконец, не отправили в федеральную военную тюрьму на острове Алькатраз в Калифорнии, где он с не меньшим пылом снова и снова отказывался участвовать во всем, что было связано с милитаризмом. Большую часть своего заключения он провел в темной и сырой камере в омерзительном месте, широко известном в узких кругах под именем Чертова острова Дядюшки Сэма.

---

Версия #1

██████████ ██████████ создал 21 апреля 2025 17:50:56

██████████ ██████████ обновил 21 апреля 2025 17:53:27